

В городе кричат.

Станция «Библиотека имени Ленина» закрыта для входа и выхода пассажиров. Внимание. Станция «Библиотека имени Ленина» закрыта.

Я остаиваюсь. От шарфа пахнет старыми духами – и после стирки не выветрились. На тротуаре стоит мужчина – без куртки, в тёмном пиджаке. Его машина рядом. А прочие сигналият так, что колоколов храма Воскресения Слоущего не расслышишь.

– Чёрт знает что, – говорит мужчина.

Я не знаю. Я говорю:

– Да, «Библиотека» закрыта.

Мужчина кивает:

– Сейчас танки пойдут.

Какие танки – разве сейчас война? Или скучно ему, скучно в синем красивом «Ниссане» – вот и вышел посмотреть на деревья, на тоненькие листики каштанов, свежую зелёную краску лавочек, красные кирпичи храма. Нет, колоколов не слышно.

– Какие танки?

– Наши. Какие. Из-за танков дорогу и перекрыли.

Я поворачиваюсь к Арбату и жду танков.

У меня нет зонтика, и волосы выбились из-под капюшона толстовки. Капли хлипкие, тоненькие. Целый день. Мужчина в костюме вглядывается в горизонт. Машины неподвижны.

На обочине – милиционер в длинном плаще. Он видит машины, но ничего не может сделать.

– Надо было на метро, – мужчина плюёт в дождь, в пыльные тополиные серёжки. А я в восемь лет ими полные карманы набивала.

– А почему танки-то?

Мужчина не знает. Ему холодно. По тротуарам, по остановкам, деревьям – пёстрые ленты, точно огородили место преступления. Место преступления – Москва.

– На параде много танков будет, – хлопает дверью машины.

Я остаюсь одна.

Я вышла из дома третьего мая, в день репетиции парада Победы, а станция «Библиотека имени Ленина» закрыта для входа и выхода пассажиров.

Поэтому иду пешком. Я иду по Арбату, поворачиваю на Смоленскую площадь, потом – на Смоленский бульвар. Там легче, спокойнее.

Двор открыт, и звонить не понадобилось – верно, кто-то переезжает и выносит мебель из подъезда, потому что железная дверь распахнута. И камень положили, чтобы так открытой и оставалась.

Пять этажей я бы по лестнице прошла, но она сказала – лифт. Я еду. Она ждала.

– Возьмите тапочки.

Уходит в зал, не ждёт.

В коридоре – жёлтое кресло и торшер. Ни книжки, ни журнала – пыльно, пожухлая пыль прибита к полу. Пахнет сорго, размоченным в ведре. Открывали тут окна, вытряхивали плед с кресла?

– Свет включите, не болтайте по темноте, – снова появляется на пороге комнаты.

Свет включается просто. От света останавливаются пылинки в воздухе, высвечиваются, проступают поочередно – крашенная в белый дверь, ещё дверь, деревянная, закрытая на замок.

– Вы что же, без зонтика ходите? – смотрит на мои мокрые волосы. – Садитесь.

Прохожу в старухину комнату.

За годы яркие окна покрыла пыль, а медовый паркет исчиркала мебель.

В комнате старое пианино с тёмной лакированной крышкой – красивое, с немецкой надписью. Книжный стеллаж завален советскими журналами. На нижней полке тоненькая Библия в глянцевого обложке – из тех, что печатают баптисты. Дали возле метро? Сказали – бесплатно, узнайте Бога? Она удивилась, но взяла. Муж повертел в руках, сказал – перевод странный. Но выбросить нельзя, поэтому поставили в книжный шкаф и забыли. Только я теперь вспоминаю.

На табуретке – растрёпанные нотные тетради.

– Садитесь, ну же, – она нетерпеливо смотрит. – Буду спрашивать.

Она высокая, тонкая. На халат наброшена тёплая розовая кофта с продранными локтями, грязная. Под халатом – спортивные брюки. Топить ещё не перестали, да и в комнате тепло – но от медленных движений по дому не чувствует рук, набрасывает свои и мужнины вещи.

– Лет вам сколько?

– Двадцать три.

– Взрослая женщина, вам бы ребеночка нянчить. Чего пришли?

– Петь хочу.

– В двадцать три? И давно хотите? Я вот с пяти лет хотела. Мама, говорю, я буду певицей, как ты, – и топала ножками по полу, пританцовывала. А вы?

Я не знаю. К обоям приколоты булавками фотографии – красивая женщина со светлой косой; парень в гимнастёрке с грустной улыбкой. И снова – женщина, парень – и ещё один, в обычной одежде, лохматый, рассеянный. В кадр не смотрит, а куда-то за край, на обои.

– Вы москвичка?

– Нет.

Виктория Ивановна берёт со стола очки в тонкой золотистой оправе. Дужки замотаны синей изолентой.

– Приезжая, значит. Трудновато придётся, хотя я и мало за уроки беру – пятьсот рублей. Поможет кто, а?

– Поможет.

– Муж есть?

Мужа нет.

Она отворачивается, протирает очки подолом розовой кофты.

– Вставайте, распоёмся. Руки куда? Опустите. И вставайте так – в уголок, за пианино.

Я пою. Она играет трезвучия. И вдруг останавливается, разворачивается резко – седенькая косичка бьёт по щеке:

– А вы чего так орёте? У соседей девочка маленькая, спит. Кто вас так научил?

Никто. Она больше не играет.

– Ну, милая, кто же вам сказал, что так петь надо? В двадцать три года? В бухгалтеры бы пошли. В бухгалтеры, – бормочет под нос, умолкает. Смотрит перед собой, на фотографию женщины со светлой косой. – Мама моя, покойница, и на смертном одре пела. А вы что?

В серванте нет всегдашнего хрусталя, посуды старой, красивой – пустые зеркальные полки, только несколько одинаковых фаянсовых тарелок. Подарили к фарфоровой свадьбе – не доставали, откладывали. Не нравились, или детям берегли, или попросту забыла? – но пыль легла, и не стереть некому.

И похожа Виктория Ивановна на женщину с фотографии – только глаза яркие, даже в очках. Яркие, заполосные: посмотришь – и стыдно, что пришла, а не умею ничего, и что двадцать три года, и что дождь и грязь со Смоленского бульвара на кедах принесла.

– Ну, который же месяц?

– Какой месяц?

– Какой месяц ходите ко мне? Второй?

– Я же в первый раз.

– Да, да. Точно. Где-то видела вас. Сколько лет? Восемнадцать?

– Двадцать три.

Сидит одна, в огромной квартире, где портреты, иконы, книжки, будильник, пыльные кружевные салфетки, нет телевизора и радио, нет детей, нет маленькой лохматой собаки, нет мужа, нет звонков от старых приятельниц.

– Двадцать три. И мне было двадцать три. И Вася был... или как его?
– Ещё рубашка мятая, пуговка верхняя на ниточке держится.

Я жду.

– Да вы как дышите? – она вдруг кричит. – Плечи поднимаете? Идите, слушайте, как дышу. Слышите?

Берёт за руку, заставляет наклониться. Пахнет неприятно застиранной тканью, синтетикой, несвежей рубашкой – сухо, оловянно, по-стариковски.

Так в метро от пенсионеров пахнет – стараюсь не садиться рядом, и не притрагиваться. Боюсь старости, боюсь пятнышек – точное зарзасное это, страшное.

Но держит за руку, не отпускает.

Дышит ровно, глубоко. Тихо.

– Поняла? А ты как дышишь? Плечи ходуном ходят. Певица низом дышит, животом. Дыши.

Я стараюсь дышать животом, но от запаха, крика, острых ногтей – теряюсь, делаю глупо, быстро.

– Ладно, садитесь. Всё равно толку нет. Вы, деточка, домой идите – и дышите, дышите. Ходите там за детьми, по дому убирайтесь – дышите. А то это что такое?

– За какими детьми?

Старуха отмахивается. Молчим. Стрелки на старинных часах движутся громко. Наверное, наш час вышел.

– Давайте на следующий раз договоримся?

Она встаёт и приходит с отрывным календарём.

– Сейчас какой месяц? Ноябрь?

– Май.

– Ага, май... ну хорошо. Когда вы хотите прийти?

– Послезавтра?

– Приходите. Я-то дома. Пока на дачу не забрали.

Я обуваюсь в коридоре. Не забрали – значит, дети есть. И отчего тогда на фортепиано тряпки и на стёклах – пыль, в прихожей – одни комнатные тапочки, рваные и цветастые?

– Двадцать три... Да я пела, кажется, с ползунков. Как лежала в картонной коробке, в комнате, общей на троих, в общежитии московской консерватории – мама положила, так и лежала. И мурлыкала себе под нос. А вы – двадцать три. Ну куда это годится.

Старуха качает головой, отчего очки съезжают на бок. И очкам лет сто, как и ей – заношенные, склеенные.

А звали её Викой давно, но ей каждое слово помнится.

* * *

– Вот и девчуля обрадуется, да? – Сашка наклоняется над маленькой, строит смешную рожицу – но Вика сидит сосредоточенная, не обращает внимания на этого смешного. – Серьёзная девчонка у тебя. Потом у неё будете по струнке ходить.

– Да уже, – Лида вытирает пыль с подоконника. Стол потом только придвинуть к окну – и усядется весь пятый курс, и место останется. С композиторского вообще только Сашка один.

Сашка подходит к столу. Останавливается, кашляет – но не как при простуде бывает, а как-то по-другому. Сердце. Такое сердце, что по лестнице быстро ходить нельзя.

– Да что ж сама консервы открываешь! Давай мне.

– Это рыбные.

– Так что же, что рыбные? Рыбные легче открывать?

– Да приноровилась.

Консервы с завода «Баргузин» давно днём с огнём в Москве не найти – с трудом достала где-то. Боится, что Сашка неуклюжими тоненькими руками – не мужскими, жалкими – станет открывать, уронит.

– Ну да. Точно, – он кивает несколько раз. Лида поднимает голову, перебрасывает назад короткую косу: остригла три года назад, и не выросли по-настоящему. Под шапкой, под косынкой – не видно. Ничего. А вот в комнате сразу въявь неладное – ведь и коса должна быть, и рыба, и свет, и цветы.

Вика смеётся. Настоящую кровать достать не смогли – на ночь Лида с собой кладёт в кровать, а на день – что придумаешь: взяла и застелила картонную коробку из-под холодильника байковым одеялом.

Лида хочет двигать стол – берётся за край, но Сашка встаёт от коробки, помогает:

– Лучше хлеб режь. Наши скоро будут.

Лида режет половинку черного на треугольники.

– На Герцена не была?

Она была. В нотном отделе была, во дворике на лавочке сидела. Страшный июль в этом году – липы пожухли и опали, и окурки на пыльном газоне. Списки прошедших конкурс вывесили на доске особой – и весёлые мальчики в гимнастёрках толпятся возле, ищут свои фамилии.

Тот мальчик, верно, не нашел. Кивнул кому-то, побрёл на трамвай. Блестит латунная звезда героя, светится тихо. Когда играл – смотрели, переглядывались. И вроде хорошо играл, прозрачно, ясно. Но что сделаешь. Конкурс.

Трамвай едет медленно, тянется по Бульварному кольцу. От июля кружится голова.

Лиде говорили – восстановишься, зазвучишь. После всего к работе возвращаются, певицами вырастают.

А в зеркале что? Лида смотрит. Низенькая, белая, грустная – никогда не вырастет в певицу. И не потому, что поздно, а так. Есть ровно постриженная чёлка, белёсые губы, скоро муж с друзьями придёт – вон доченька играет бахромой розового одеялка. Всё.

А голос, чуть живот расти стал, сделался надтреснутым неприятно, неглубоким. В общаге не распоешься – пошла к Софье Олеговне, рассказала. Показала. Уже и заметно было.

Софья Олеговна помолчала. Пожала плечами – куда с пузом-то. Запретила приходить. Как хочешь. Запретила петь. Родишь, отлежишься – явишься.

Лида явилась. А потом и вовсе не до того стало.

Вика сидит в коробке, руки поднимает – точно обнимает кого.

– Саш, Иван и задержаться может.

– Ну так что ж?

– Посидишь часок с Викой? Я быстро обернусь.

Лида тербит тонкую хлопчатобумажную косынку.

– А Иван придёт – что сказать?

– Что я к Софье Олеговне. Сашка. Мне ведь диплом петь.

За окном голуби, голуби. Дождя нет и до конца недели не будет. Тополиный пух лежит на подоконнике – ветер ворошит-тревожит.

– Саш. Ну как я потом пойду? Иван же с ней не останется. Придёт – что ж вы, не найдёте разговора? Да она рядом живёт – по улице пройти. Я два года не пела, Саш.

– Почти три.

Вика спит. Только сидела на кровати – и вот сморило, опустилась, потяжелела головка белообрывая.

В коридоре шаги – кто-то идёт на кухню, к лестнице, на площадку – цветы выставлены в больших кадках, подвжали за весну – полить, обиходить. Каждая комната в очередь поливает. И Лида.

– Сашка, так можно?

– Иди, что ж. А старушка – ничего, что в праздник придёшь?

– Ничего. Звала.

Лида сразу засомневалась, что звала. Косынку сняла. Звала ли? Или пришли – муж, старичок-писатель, сын, что по возрасту на фронт не попал, – и внук, который попал, и не сказала старушка в последнюю встречу – как, есть ли весточка, весточки?

А вернулся теперь, наверное. Радио слушает.

Лида повязывает косынку, убирает челку и выходит в коридор. Дочку бы поцеловать. Некогда.

Лида бежит по коридору, стучит маленькими каблучками. Туфли давнишние, девчачьи – на десятый класс мама купила. Десятый проходила, и лето, и потом три курса. А сейчас только бы радоваться, что не износились – так, на ремешке кожа поистёрлась.

Лида выбегает на улицу.

На крыльце общежития – нет, не показалось. Стоит. Курит.

Иван – светленькая льняная рубашка с зашитым правым рукавом. Сама зашивала, а не привыкнет никак.

Взяла рубашки разом, села на полу. Нитки попросила. И шила, шила, до вечера шила, плакала – шила.

Ваня кивнул.

– А кто тебе – сигарету? – спрашивает Лида. Обычно сама ему прикуривала

– Никто. Ты куда?

Иван смотрит. У него пробилась с той недели рыжая жесткая щетина. Сбрить не дал. Сказал – привыкнуться надо, смириться. Не смирился.

– Я Вику с Сашей оставила. Спит.

– Саша твой... – не договаривает. Окурок висит в уголке рта. Лида тянется поправить – он дергается весь, лицом, руками. Раньше не было. Спокойно бы стоял, улыбался. Даже лицом изменился.

– Саша твой... – смотрит в сторону, – ну да спасибо ему. Иди, пой.

– Честно?

– Честно.

Он вынимает левой рукой изо рта окурок, бросает с крыльца. И тогда Лида целует мужа – тихо, легонько. От Вани пахнет загаром, дымом, теплом, хозяйственным мылом.

Он отстраняется, неловко достает из кармана – маленький брусочек, завёрнутый в промасленную бумагу.

– Вот, отнеси ей.

Обычно Лида резала и хлеб, и масло – две трети оставляла на семью, остальное Софье Олеговне несла. А в урожай – и яблоки, и картошку. Мама присылала. Самый первый раз Лида, стесняясь, положила у неё в квартире на сервант проволочную сетку с яйцами.

– Это что? – спросила старушка.

Терпеть не могла всего этого – маслица, нежностей, сплетен. Выше. Всегда выше – соседок по коммуналке на целую голову, в очереди, на улице, везде. На седую голову выше, убранную гребнем с растрескавшимся перламутром.

Это так. Вам. Мама мне денег не присылает. Зато есть яйца. Масло тоже бывает. А хлеб мы всегда в столовой берём, он там нарезанный лежит. Хотите – и вам будем носить.

Лида боялась – покачает головой. Скажет – забери. И пришлось бы забрать, и не приходится больше.

Но старуха точно не заметила – проводила, дверь открыла.

А в другой раз молча вернула проволочную сетку из-под яиц.

Лида иногда думала – а не потому ли подвел голос, когда Викою тяжёлая была? Что нечего принести, совсем нечего – делили с общагой общий стол, собирали с каждого.

А работа вечерняя, на которую теперь все пошли, тяжело давалось – хотелось ночью хлеба, и хлеба, и Вика плакала в животе.

А потом Вика родилась, а Ваня вернулся, и на улице поливают горячий асфальт, чтобы пыль опустилась.

Она берёт масло. Целует Ваню ещё раз.

– Я скоро.

И бежит Лида в один из арбатских переулков, вспоминает – вот и решётка, шиповник, деревянная дверь, пятый этаж, коврик пёстрый под дверь. Это соседи положили, не она.

Лида звонит два раза. Это условные.

Но никто не открывает.

Лида ждёт. Три часа дня – некуда ей выходить. Муж, старичок, может, и на работе, и внук – на работе, а ей – некуда. Обыкновенно Софья Олеговна сидела и перечитывала книжки из старой мужниной библиотеки. Чуть не дореволюционной ещё. У неё даже Библия есть. Лида видела.

Долго-долго звонила, а потом за дверь кто-то зашаркал, заскулил.

Замерла, остановилась. Кто-то ковыляет, стучит палочкой. Дверь тоненькая, из досок – слышно. Дышит тяжело, навзрыд.

Но когда Софья Олеговна открыла дверь, Лида остановилась на пороге.

В прихожей пахнет сыростью, слезами, затхлым.

– Здравствуй, Лидочка.

У Софьи Олеговны другое лицо. Морщинки заострились, словно бы землей присыпали.

Под глазами набухло красное.

И когда Софья Олеговна побрела в комнату – не ждала ответа, не удивилась, что Лида через год пришла – Лидочка поняла, что не надо было приходить.

– Здравствуйте. Что?

В зале старое пианино с тёмной лакированной крышкой.

Лида садится в дачное кресло из стертых светлых прутьев.

Старуха садится за пианино – бездумно, автоматически. На ней тёмное уличное платье с обтрепанным подолом. На подоле крошки, лепестки – что-то июльское: новая летняя жизнь, задевшая, прогремевшая.

Сломившая?

Старуха качает головой.

– Что, Коленька?

Плачет.

Не знает, что сказать.

Лида приносит ей чашку с водой. Коленька. Внучек. Жил в этой же квартире – мрачный, хмурый. Они и не говорили никогда. Готовился держать экзамены в университет. Радио слушал.

– Коленька.

У старухи остренькие плечи дрожат. Верно, оделась на улицу – платье, чулки. Брошка в виде бело-голубого парусника с маленьким якорьком. Оделась, достала туфли из шкафа – да защемило сердце, оборвалось. Слезы горло сжали. Так и просидела на полу, если бы не Лида. Услышала звонок. Слезы стёрла. Палочку с пола подняла.

Старуха пьёт воду глоточками.

– А Иван?

– Вернулся.

– Здоров?

– Здоров.

Про руку не сказала. Почему-то показалось – не нужно совсем.

– Да ты, поди, родила?

– Родила. Давно.

– Сына?

– Дочку, – улыбается Лида.

Они не поют, сидят. Под окнами поливальная машина брызжет водой – нарядно город украсили, вымыли асфальт. Светлые люди ходят, и пиджаки щётками чистят, и календула цветёт на клумбах.

Лида обнимает старуху за плечи. Молчат.

– Мне нельзя долго. Сейчас ребята собрались – посидеть, вспомнить...

– Идите, идите. Хотя вы же позаниматься хотели?

– Нет, не хотела. Да я и сиплю что-то – не выздоровела. Я спросить, как вы.

– А, если спросить...

Лида встаёт, поправляет юбку. Вынимает из сумки масло и кладёт на крышку пианино.

– Что это, девочка? За что же? Ведь мы не занимались...

– Да нам всё равно много – Ваня много купил! Килограмм! Им теперь премию выписали.

И сама не знает, зачем врёт.

– Премию? А Коленьке тоже выписали?

– Наверное. Наверняка выписали. Я узнаю, хотите?

Старуха качает головой. Что ж теперь. Лида понимает. И стыдно, что наговорила. Премия. Ей пришлось занимать денег на стрептоцид, потому что у Вани швы воспалились.

Обуаается в коридоре и выходит на Смоленский бульвар. На бульваре дождь.

Почти бежит, и страшно – долго шла, долго под дверью стояла, разговаривала. Вдруг Вика проснулась? Она теперь днём не больно-то спит. Куда с ней Саше?

В комнате поют тихонько. Света, Аня, Ваня, незнакомый высокий паренёк, девочка-второкурсница с длинными тёмными косичками, Саша – с Викой на коленях.

– О, а вот и мамашка. Плодогодное будешь?

Смеётся.

Ваня захмелевший, расхристанный – берёт за руку, сажает с девочками. На столе – хлеб, сливовый компот, рыбные консервы, кислица. За алым плодогодным ребята и ходили, пока Ваня курил на крыльце.

Лида забирает Вику от Саши. Отчего-то маленькие его, слабые руки крепко и хорошо привыкли держать ребёнка.

– Не плакала?

– Нет. Только кумушки ей спать не давали – затанули, видишь ли, песни.

Девчонки смеются.

– И всего-то пару романсов спели. Тихонечко.

– Да ну вас, пойте, – улыбается Лида.

Они тянут Даргомьжского на два голоса, тихо. Саша танцует – сидя, незаметно: запрокидывает голову, что растрёпанные рыжеватые волосы падают на плечи. Не стригся давно. Надо сказать. На нём клетчатая рубашка со странным круглым воротничком. Не иначе – отцовская. Об одежде не заботился – случилось, и Ванины старые вещи донашивал.

Родители его с Севера – металлурги. Деньги присылали, к дорогому врачу водили – чтобы выслушал сердце, чтобы сказал. Сказал – аритмия. Ждите. Саша вырос, и ждать стало нечего.

Лида смотрела на Сашину рубашку. Поймала Ванин взгляд.

И вспомнила нитки, пустой рукав, папиросы «Ракета» – и ответила взглядом чистым и спокойным. Я не виновата. И в том, что он целыми днями у нас в комнате, – не виновата.

Комнату дали, когда она уже на втором месяце была. Ждали, маялись, коменданту писали что ни день.

И вот дали ключи – от угловой на втором этаже: огромной, тридцатиметровой, светлой. Обои стёрлись и слезли лоскутами, но ничего – собрались, сварили клейстер, подклеили. Перенесли картонные коробки с нотами, тетрадками.

Завели веник, железный совок. И перестали скидывать со стипендии на общий стол, зажили своим домом. А когда Ваня уехал, Лида стала с девочками по-прежнему и еду покупать, и разное по мелочи. Даже хотела в старую комнату вернуться – койка-то пустует, и теплее со всеми.

Остановило только – ведь узнает комендант, что пустует комната, отберёт. А Ваня вернётся – куда вернётся? В девчачью комнату на четыре койки?

Но кроме картонных коробок в их новой семейной жизни не было ничего. Только из комиссии принесли кровать – девчонки скинулись, мальчики принесли. Матрасы старые вместе положила – вышла настоящая двуспальная, широкая.

А через месяц Сашка привёз маленький столик и деревянные прикроватные тумбочки – красивого и дорогого дерева. Соврали вместе – ДСП, мол.

И теперь Ваня смотрит. Я не виновата.

– Ладно. Ребёнка надо спать укладывать, – говорит Ваня. Девчонки виновато переглядываются – сейчас-сейчас, вы уж извините. Засиделись. Прощаются, обнимают Лиду.

Остаются втроём.

Сашка не видит, что девчонки ушли. Он – глазами в нотную бумагу: не в настоящую нотную, а так. С того года её совсем не стало, и они изловчились сами делать: возьмёшь обычный лист, хоть оберточный, и сидишь-чертишь линейчками: пять, и пять, и пять. И огромный школьный угольник пригодился.

Огрызком карандаша водит. Не видит ничего.

– Что? – поднимает глаза. – Громко?

Ваня качает головой. Это у Саши в голове звучит – никто не слышит.

– А куда девочки делись?

– К себе пошли. Поздно.

– А. Слушай, Вань. Можно у вас переночевать? Стулья сдвину – усну. Не хочу сейчас – по лестнице.

– А что, болит?..

Лида тревожно всматривается. Лицо его серенькое, в рыжеватых пятнах-веснушках. В Ташкенте сильно обгорел – с рыжины, с непривычки. Маслом мазали, спасали. А до сих пор кожа не сошла.

– Да так, – неловко. От Ваниных глаз неловко. Хоть и не выгонит, поверит.

– Вань, можно?.. – Лида тихонько качает Вику. Нужно убирать со стола, и Ваня уже составляет вместе чайные чашки, испачканные плодоягодным. Моют посуду они по старой холостяцкой привычке Ивана: эмалированный таз берёшь, составляешь всё грязное. Доходишь до раковины в туалете, который на каждом этаже – не надо в кухню спускаться. Льёшь в тазик из крана воду, качаешь из стороны в сторону, чтобы на каждую чашку-ложку попало. Споласкиваешь другой водой, чистой.

Главное – слишком-то тарелки не пачкать, а то не отмоешь. Масло, к примеру, не отмывается.

– Зачем стулья, – говорит Ваня, – матрас есть.

– Ага, – Саша расстегивает пуговицы на рубашке. Под взглядом Ивана остановился, опомнился – зашёл за дверцу шкафа, стал раздеваться там. – Где матрас – покажете?

Ваня идёт к шкафу – Лида кидается помогать, привстаёт на цыпочки.

– Ты чего?

– Я помочь...

– Нечего тут помогать. Дочь лучше ко сну переодень.

А лицо упрямое-упрямое.

Лида отходит. Ваня снимает матрас – от непривычки к тяжести рука дрожит.

Удержит, думает Лида. Сильный. Всегда был.

Но матрас падает.

Ваня смотрит на разжавшуюся ладонь – точно она его предала.

Сашка выходит из-за шкафа в майке и в брюках без ремня.

– Спасибо. А как раскладывать?

Лида торопится, показывает. Иван идёт к выключателю. Ждёт.

Саша ложится на матрас прямо в льняных мятых брюках.

В Ташкенте не стеснялся. И девчонки не стеснялись – их поселили в пустующей школе, неподалёку от железнодорожного вокзала. Поставили раскладушки в кабинете обслуживающего труда – где стояли вдоль стен швейные машинки, лежали перепутанные нитки, лоскутки.

Но Ваня был в траншее, когда жену и консерваторию всю эвакуировали в Ташкент. Девочек, белобилетника Максима – который после полиомиелита и ложку-то как следует держать не может – и Сашку. Хлипкого, рыжеватого – но нормального.

А что там в траншее было – Ваня не рассказывает.

Сашка в вытянутой хлопковой майке – худой, сутулый. А в городе были продукты – молоко, мясо, картошка. Но забывал, не видел – и ел, только если она приносила. Он разминает плечи – тянется вверх. Странно впалая грудная клетка – косточки тоненькие, ровно у птицы.

Иван поворачивает выключатель и идёт в темноте к кровати. Вику Лида кладёт в середину, ближе к себе.

– Ты принял лекарство? – говорит Лида темноте.

Темнота пахнет вымытыми тарелками, банками из-под рыбных консервов, вином, теплом, двухнедельным постельным бельём.

Темнота не отвечает.

– Заснул твой, – говорит Иван. Он лежит прямой, жёсткий.

Молчат.

– Пора Вике кроватку сделать, – Лида приподнимается над подушкой – тихонько, чтобы не разбудить, – ты зачем так?

– Он тебе точно бездомная собака. Жалко?

От плеча Ивана пахнет тёплой кожей и больницей – немного. На ночь он снял рубашку, но темнота скрадывает и рубцы, и обмороженную тёмную кожу. Кажется, в нём вообще ни капельки того, прежнего, не осталось.

– Он нам молоко козье носил. В паёк молоко не входило, нужно было у местных менять.

– Тут-то кормили?

– Кормили.

Детский сад сделали в бомбоубежище – а готовили на старой кухне, и нянечка на санках через пол-Москвы везла овощное пюре, варёную рыбу и разведённый чай в кастрюле. Молоко привозили прокипячённым, холодным: успевало остыть.

Взрослым в заводской столовке никакого молока не было. Лида увидела – коса расти перестала. Совсем. На заводе пролетел год – не заметила. Пошла как все.

А раз студенткой числилась – не держали, когда повезли в Ташкент. Уволили сразу, потому как работа временная.

– Так любой бы носил. Женщина с ребёнком. Ну? – сказал спокойнее. Пожалел – и не Сашку, а её, Лиду. Молоко. Про молоко не подумал.

Представил старушку-техничку, которая с бидонами, привязанными верёвками к саночкам, шаркает-скользит по голому асфальту. Потом будет остывшую картошку из кастрюли раскладывать по тарелкам. Лиде пришлось отнести в детский сад и полотенце, и ложки. И простыни стирать брала к себе. За это в садике было чисто и хорошо – а некоторым родители тарелок не давали, так дети из Викиной голубенькой и ели. Лида смотрела-смотрела – потом весь сервиз принесла. Воспитательница всё – спасибо, спасибо. В комнате из сервиза осталась одна, и в ней лежит накрытый льняной салфеткой хлеб.

Лида опускает голову на подушку.

– Вика и болела мало. Только животом один раз.

Лида тихонько гладит дочкины тёмные волосы. Немного вьются на концах – и в кого, неясно. У них-то прямые, соломенные, гладкие. Лида хотела к свадьбе на бумажки и сахарную воду завить – два часа держались, а потом всё одно пришлось косу плести. Она тогда ещё длинная была, коса. Хоть и негустая.

– А что ж она у тебя не разговаривает?

Он-то ждал, когда впервые над дочкой наклонился. Страшный, небритый – спасибо, руки помыл. Сел на корточки, улыбнулся – и ждал, что скажет, узнает. И всё равно, что не видела ни разу.

А Вика не сказала – плакала.

Сначала обиделся, ходил по комнате, на Лиду не глядел. А потом понял, что дочурка-то не только ему – а ещё никому полсловечка в три года не сказала.

– Да рано ведь ещё, Вань.

– Четыре года почти. Пора бы. К врачу носила?

– У нас был детский врач, но его мобилизовали скоро. Но говорю – болела мало.

– А если дальше молчать будет?

Лида не верит. Как это – молчать? Она пела всю жизнь, и теперь будет – Вика заговорит, запоёт – неизвестно, что скорее. Будет мурлыкать перед зеркалом, дядю Сашу радовать. А дядя Саша раздышится – обрадуется маленькой.

Сашка смешно дышит во сне – неглубоко, со всхлипами. Лида привыкла, прислушалась, теперь засыпать, не слыша – странно, непривычно, пусто.

– Была у старушки? Пели?

Лида качает головой, забывая, что в темноте не увидеть.

– Коленька, – говорит она.

Что?

Ваня несколько гулких секунд боится, что она перепутала, мужа другим именем назвала – ведь полстакана остывшего молока раз в неделю, несколько месяцев на МЭЛЗе, в цеху радиоламп, засыхающие на ветвях яблоки в Ташкенте – и вот уже не голосистая Лидка, светлокосая Лидка, а другая, тихая.

– Коленька у неё был.

– Муж?

– Внук.

Вика возится во сне, стонет.

Мы не пели. И хорошо, что не пели. Можно думать – вдруг голос вернулся, зазвучал?

Ведь страшно. Как ходили в детский театр – пианист играл знаменитый, из Ленинграда эвакуированный. Он москвичей и позвал. На вокзале встретились. Он, Гольдберг, предложил – ну спойте пару романсов, нежных. Чтобы людям отдохнуть, умилиться.

Она обрадовалась – неужели и здесь, куда привезли от голода, можно достать для концертмейстера ноты, можно выйти в актёрский зальчик – и петь по жаре громко-громко, как раньше?

Но когда они пришли на репетицию и Лида тихонько попробовала распеться в коридоре – и вдруг из заметила, как из темноты смотрит зеркало. А там – тёмная, страшная, больная. Потому что Вика осталась в школе с однокурсницей, которая петь не захотела.

Попробовала распеться – перехватило горло, занемело, зажгло. Лида извинилась перед Гольдбергом, отговорила чем-то – и побежала. А узбеки оглядывались на бегущую женщину, языками цокали.

Будут две немые – мать и дочка.

* * *

– Виктория Ивановна, так я приду послезавтра?

– Почему – послезавтра?

Она возится с цепочкой на входной двери. С площадки пахнет чистящим средством. Окна в доме зашторены плотно, поэтому я не слышу, кончился ли дождь. Наверное, нет – промокну, пока до метро дойду. А раньше на 9 Мая всегда тучи разгоняли. Но ещё рано – может, завтра разгонят.

– Мы же договорились. Пока вы на дачу не уехали.

Старуха открываем дверь, всматривается в коридор – никого. Электрического света нет – от окон светло. Потолок высокий, и окно высокое. Дождь кончился.

– Так я, может, скоро уеду... Скомандуют – собирайся на дачу. И сразу поеду. Внуки не хотят, чтобы я дома летом кисла. Но вы позвоните. Может, не уеду. Внуки пока ничего не говорили.

Я выхожу на площадку. Хоть бы внуки не приезжали – потому что до послезавтра буду представлять, как снова иду бульваром, поднимаюсь по лестнице, называю своё имя и возраст, рассказываю, как хочу петь – и что поздно, наплевать, и что способностей нет – тоже.

Но внуки не приедут. Потому что на стене одни черно-белые фотографии – девушка с косой, парень в гимнастёрке. Внуков нет, потому что нет фотографий.

– Ну вот, и светло снова, – старуха кивает на просветлевшие окна. И вдруг ни с того ни с сего начинает петь – прямо на площадке, в голос:

Звонче жаворонка петь, ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья, небо полно красоты....

Я повернулась к ней и не заметила ни розовой растянутой кофты, ни жиденькой седой косички, ни отросших грязных ногтей, ни старческих веснушек – потому что голос был ровно тем, что звучал в залах и пятьдесят, и сорок, и тридцать лет назад.

Соседская дверь чуть приоткрылась, и кто-то выкрикнул – непонятное, нерусское.

Мне стыдно – точно помешали людям, точно громко кричим в автобусе.

Виктория Ивановна грозит кулаком закрытой двери.

– День, мол, а у них детишки спят, – бормочет. – Я младенцем в любом шуме спала. Мама пела, репетировала – вечно пела: и когда полы мела, когда блузочки перешивала – а мне хоть бы хны.

– Хорошо. Спасибо вам, – она кивает и закрывает за мной дверь. Дверь тоненькая, а шагов не слышно – смотрит в глазок.

На Смоленском бульваре всюду тополиные серёжки. Вырасту ли я и стану ли, как она, петь на площадке, в огромной квартире с двумя закрытыми на замок комнатами, с бумажной иконкой святого, без внуков, без всех?

И не будет ни очереди на почту, ни семечек, ни корвалола?

Пускай не будет. Я на всё согласна.